



**М. МЕЙЛАХ**

## **Заметки об Анне Ахматовой \***

...свою меж вас еще оставив тень.

...предварив эти заметки несколькими словами об их характере и истории. Их начало восходит к первым месяцам после смерти Ахматовой, когда я начал вспоминать некоторые ее слова, стараясь записать их так, как она говорила. В большинстве случаев это оказалось довольно легко; то, что помнилось, — запомнилось точно и навсегда, при этом поначалу я стремился восстановить главным образом реплики, которые мог слышать не однажды, и частично к тому же среди тех, кто знал Ахматову, вошедшие в обиход. При жизни Ахматовой я никогда не записывал разговоров с нею, впоследствии, однако, нашлось несколько случайно попавших на бумагу ее фраз, обогативших эти заметки.

На это ушло около полутора лет. Обе следующие мартовские годовщины я возвращался к написанному и всякий раз останавливался на полпути. И только спустя три года я решился привести в порядок сделанные записи.

Стихи Ахматовой я знал, кажется, всегда, но кое-что раскрылось в них для меня лишь позже и именно в связи с размышлениями о ее жизни. Уже в моем детстве Ахматова была некоторым мифом, и странно было, что она живет в том же городе и что с ней знаком, например, мой отец. Когда мне было лет двенадцать, я, найдя в справочнике ее телефонный номер, набрал его с трепетом, ожидая услышать на мгновение, прежде чем я брошу трубку, ее голос. Но ответила молодая женщина, и повторять дерзкий эксперимент я, к счастью, не стал. Позже,

---

\* Эти заметки, написанные вскоре после смерти Ахматовой, перед публикацией были отредактированы автором (примеч. 1989 года. — М. М.). Сокращенная версия заметок публикуется в «Литературном обозрении (1989. № 5).

когда мне было лет пятнадцать, я, набравшись храбрости, снял с полки «Из шести книг», срезал несколько веток сирени в нашем комаровском саду и предстал перед Ахматовой в ее «Будке». Она надписала книгу и спросила, когда же я буду читать свои стихи. В первую секунду я имел наивность подумать, что ей известно о моих стихотворных опытах, но все понял, когда она сказала: — Однажды я повела сына смотреть какого-то учебного слона. Когда мы пришли, татарин, который за ним смотрел, куда-то отлучился. И тогда слон сам начал показывать свои фокусы...

Прошло несколько лет, и я встретился с Ахматовой в Москве на Ордынке у Ардовых, возвращаясь из поездки в Архангельскую область, где я навещал Бродского, о котором она подробно меня расспросила. После этого я встречался с Ахматовой, изредка навещая ее с моим другом Анатолием Найманом, который был ее секретарем и который помог мне победить мучительное ощущение трудности первых встреч, когда я был «один на один» с Ахматовой. Позже я лишь в редких случаях говорил с Ахматовой наедине. Такие визиты были обычно непродолжительными. Я старался сделать Ахматовой приятное, принося ей цветы (в Комарове это была сирень или огромные лиловые ирисы, которые она любила), пластинки, книги, помогая при отъезде, выполняя небольшие поручения и т. п.

В этих заметках я старался, руководствуясь принципом *omnia quae supersunt\**, записать всякое прозвучавшее слово Ахматовой, которое я мог бы в точности воспроизвести. Я стремился к этому прежде всего потому, что это — важнейшая сторона ее облика, которая может быть к тому же более или менее адекватно зафиксирована. Другие элементы — не менее, а иногда, быть может, и более значимые — такие, как молчание, взгляд или поворот головы, могут быть только помянуты, и, читая эти заметки, следует это помнить. Вот почему я привожу *en revanche\*\** некоторые, казалось бы, несущественные слова и реплики Ахматовой. Те, кто знали Ахматову, помнят, что всякое слово, произнесенное с ее интонацией и ее голосом, приобретало некую восхитительную прелесть и особую значимость.

Облик Ахматовой, который я пытаюсь воспроизвести, быть может, отличается от образа, оставшегося у тех, кто ближе знал Ахматову и чаще ее видел, особенно же у тех, кто знал ее

\* все, что сохранилось (лат.). — *Ред.*

\*\* в возмещение (фр.). — *Ред.*

давно. Первые, привыкнув, могли перестать замечать некоторые мне бросившиеся в глаза черты; по сравнению с последними, выражаясь дантовским языком, взгляд мой отличается тем, что застал Ахматову, уже когда свет, в последние годы в ней просиявший и пронизавший весь ее облик, щедро пролился на всех, кто оказался поблизости. Среди них суждено было оказаться и мне, и я хочу надеяться, что на последующих страницах не окажусь недостойным его.

С самых ранних пор в поэзии Ахматовой появляются стихи, в которых, помимо присущих ахматовской лирике достоинств и черт, есть качественно иное нечто, стихи, в которых автор говорит «как власть имеющий». Число таких стихотворений со временем увеличивается. По-видимому, именно это имела Ахматова в виду, когда в 1961 году в связи с «Поэмой без героя» писала о возможности «звать голосом неизмеримо дальше, чем это делают произносимые слова». «Оттого, — продолжает она мысль, — и столь различно отношение к “Поэме” читателей. Одни сразу слышат это эхо, этот второй шаг. Другие его не слышат и просто ищут крамолу, не находят ее и обижаются».

Нечто подобное, мне кажется, присутствовало и в жизни Ахматовой и особенно чувствовалось в ее речи. В этом, быть может, и кроется тайна ее отточенных, обладающих несравненной притягательностью, слегка тронутых иронией реплик. Создавалось впечатление, что в словах собеседника она встречается с чем-то давно знакомым, с чем ей приятно встретиться снова и черты чего она готова вновь опознать, а эти ее *petits mots* только соразмеряют происходящее с тем, ей хорошо известным. Попробую определить такое их свойство, как «модальность» — установление зависимости от чего-то, что, однако, трудно было бы назвать. Так, когда собеседник вспоминал что-то, что не представлялось ей значительным, но что она помнила тоже, она говорила: «...Что-то было\*». «Так тоже бывает», — говорила она, когда, например, узнавала что-нибудь, что как-то выпадало из обычного хода вещей (так, когда я снова навестил ее в Боткинской больнице в Москве после того, как давно уже должен был уехать в Ленинград: «Вы не уехали? Так тоже бывает...»). «Ни за что! Лучше смерть!» — это шутливо, по незначительно-

---

\* В кавычки заключена речь Ахматовой, которую привожу дословно, в точности, как она говорила. В тех случаях, когда я хочу избежать косвенной речи, но передаю лишь смысл слов Ахматовой, не ручаясь за точность формы, прямая речь выделяется простым тире.

му какому-нибудь поводу, так же, как: «Этого я Вам никогда не прощу». Иногда Анна Андреевна обращалась к собеседнику за подтверждением того, в чем вполне была уверена сама: «Ведь правда?» На вопрос засидевшегося гостя, не занимает ли он рабочее время Ахматовой, ответ прозвучал: «Все равно все пропало».

Такие реплики, как «однако» или «тоже неплохо», позволяли Ахматовой не принимать настоящего участия в разговоре, который был ей неинтересен, не обижая при этом собеседника. На какой-нибудь вопрос вроде: «Правда ли, что она сейчас пишет книгу о Пушкине?» — она могла с веселой интонацией ответить: «Говорят!» «И все так...» — могло быть сказано по поводу мелкой неудачи или в ответ на жалобу, которая не казалась Ахматовой достойной. Зато — «только так и бывает» — по поводу очередной какой-то нелепой истории.

В связи с тем, что я назвал бы «узнаванием», «чувством повторения» (в кьеркегоровском смысле), я коснусь некоторых фактов, о которых мне уже приходилось писать по более специальному поводу. Темы узнавания, повторения проходят через все творчество Ахматовой, и ключевым, быть может, является здесь первое стихотворение цикла «Эпические мотивы»\*. Можно привести множество примеров: «И снова осень валит Тамерланом...» (1947), «А! Это снова ты...» (1916), «Опять подошли незабвенные даты...», «...и все как тогда...» (1944), «Все как раньше...» (1914), «Здесь все то же, то же, что и прежде...» (1912), «Снова свечи станут тускло-желты...» (1963), наконец, в «Поэме без героя»:

Разве ты мне не скажешь снова  
Победившее смерть слово  
И разгадку жизни моей? \*\*

---

\* Но слов ее я помнить не могла  
И часто ночью с болью просыпалась.  
.....  
Как вестника небесного молила  
Я девушку печальную тогда:  
«Скажи, скажи, зачем угасла память  
И, как томительно лаская слух,  
Ты отняла блаженство повторенья?..»  
.....

\*\* Ср. также:

И что там в тумане — Дания,  
Нормандия или тут

Замечу, что подобные мотивы очень часто встречаются у мелических поэтов Древней Греции \*. В связи с этим чрезвычайно интересно, что в цикле «Шиповник цветет» Ахматова воспользовалась эпитафией из Анненского, которого, как известно, считала своим учителем, избрав первую строку его стихотворения «Ты опять со мной, подруга осень». Анненский, превосходный классический филолог, был, без сомнения, знаком с этой традицией, и если в этом случае он и не прибегает к ней сознательно, то тень плодотворной преемственности все же здесь чувствуется.

Значение подобных мотивов в творчестве Ахматовой очень велико и, конечно, уходит далеко от их античного осмысления как закономерности, установленного порядка, рока. Говорить об этом трудно, здесь скрывается какая-то тайна, но в их основе лежит, мне кажется, следующее: автор, соединяя себя и нынешнюю свою реальность с собою в прошлом и с уже данным в опыте (не обязательно «эмпирическим»), вводит свою жизнь в историю (в смысле новозаветном, а не в том, в каком принято стало говорить об «историзме» Ахматовой). Это сопровождается актуализацией воспоминания, которое становится событием настоящего, ощущением памяти, как живой памяти, неотделимой от совести и от ответственности за себя и своих ближних. В этом плане такие формальные элементы, как объединение стихотворений разных лет в тематические циклы, перекрестные эпитафии и цитаты из собственных стихов и из поэтов-современников, играют особую роль (особенно в «Поэме без героя»). Что же касается упомянутого эпитафия из Анненского, то, хотя я далек от того, чтобы здесь видеть простую генетическую связь с античностью, встреча в эпитафии классической и новой традиции мне представляется фактом знаменательным — из тех, что сопровождают и в видимом обнаруживают скрытые явления.

Черты эти имели еще одно преломление в жизни Ахматовой: в общении с ней казалось, что она точно знает, как все должно

---

Сама я бывала ранее, —  
И это — переиздание  
Навек забытых минут?

Следует также указать в этой связи на чрезвычайное значение в творчестве Ахматовой мотивов «памяти», «воспоминания» и т. п.

\* Ср., например, Сафо 1. 25, 26:

О, явись опять по тайной молитве  
Вызволить из новой напасти сердце.

(Пер. Вячеслава Иванова)

происходить и случаться. В Англии, куда она ездила на церемонию присуждения ей степени доктора Оксфордского университета *honoris causa* («Why?» — сказал оксфордский доктор), ей подарили пластинку с чтением одного из известных поэтов, и во время визита по ее возвращении Анна Андреевна предложила ее послушать. Некоторое время звучал голос, читавший стихи о каких-то больших птицах. Ахматова сказала, что она плохо понимает английскую речь со слуха — она учила этот язык по Шекспиру, — и разговор пошел своим чередом, чтение — своим. В какой-то момент она вдруг сказала: — Пожалуй, довольно, — и у меня осталось определенное ощущение, что голос поэта звучал «ровно столько, сколько надо». «Вы уверены, что можно дальше продолжать?» — могла она спросить посреди какой-нибудь легкомысленной истории. «Я от него и не ждала», — сказала она, послушав рассказ о знакомом, удивившем неожиданной плоскостью мнений.

Проводив до дверей гостя, которого она принимала в своей комнате на Ордынке в доме Ардовых в Москве, и возвращаясь обратно к себе, Анна Андреевна — высокая, прямая, в длинном до полу сиреновом пеньюаре — остановилась на минуту в гостиной и, улыбаясь, обратилась к присутствующим: «Осип говорил, что очень важно не перестать улыбаться ровно за минуту до того, как гость будет на лестнице. Я думаю это вписать в свои воспоминания о Мандельштаме».

Разговор с Ахматовой мог требовать известного напряжения со стороны собеседника, — она умела быть строгой. Некто, рассказав ей о трудностях в жизни человека, к которому она относилась с большой симпатией, стал под конец сетовать на тяжелую весну в тех местах, где тот тогда находился. «Жаловаться на погоду! — прервала Ахматова. — Стыдитесь!» Как-то раз, когда Ахматова жила в комаровском Доме творчества, у нее собралось несколько человек, так что все стулья были заняты. В дверь постучал еще один, по-видимому, необязательный гость. «Простите, — сказала она, — как говорят в таких случаях, в этом купе мест нет...» (Был, впрочем, конечно, принесен стул из соседнего номера.) А когда один очень молодой человек в первую же встречу с Ахматовой спросил, пишет ли она сейчас стихи, она только и ответила: «Что Вы», — и рукой махнула, будто речь шла о чем-то невероятном. В общении Ахматова охотно придерживалась шутливых интонаций: — Анна Андреевна, познакомьтесь, пожалуйста, это N. (в комнату вошел хорошо знакомый человек). Она улыбается и протягивает руку: — Ахматова! Гость не знает, надо ли уходить или еще остаться.

«Анна Андреевна, что делать с N.?» — «Оставить в живых!»  
 «Вы у меня на подозрении», — в шутку, по совершенно невероятному поводу.

Мне хотелось бы больше сказать о прелести мгновенных, внезапных, острых — хотя и остающихся в пределах бытового разговора, но придающих ему оттенок веселой абсурдности — реплик Ахматовой, о которых у меня, однако, осталась скорее только общая память как о черте речевого выражения. Я позволю себе поэтому привести сначала три примера с чужих слов, и это кажется мне оправданным: я рад в тех случаях, когда я «отвечаю» за достоверность, сохранить то, что не имеет, кажется, шансов попасть на бумагу.

У Ахматовой посетитель, пришедший к ней по делу, но участвующий поначалу в общем разговоре. Речь заходит о том, что дом, в котором Ахматова живет, пойдет на капитальный ремонт и жильцы будут выселены из квартир. «Куда же вы переедете?» — спрашивает обеспокоенный гость. «В подвал», — следует сразу же невозмутимый ответ, сопровождаемый указывающим вниз жестом руки (д-р Фридрих Скаковский). Анна Андреевна рассказывает одному из добрых друзей (Николаю Ивановичу Харджиеву) подробности какого-то визита: — Там стоял стол, а на столе чернильница... «А что в чернильнице?» — спрашивает рассеянно собеседник, по-видимому, задумавшийся в этот момент о чем-то другом. «Паук», — мгновенно отвечает Ахматова. И наконец, приехав на вокзал чуть не за два часа до поезда, Ахматова обратилась к провожающим с предложением: — Поговорим о Некрасове! (Как писали уже многие, Ахматова, в последние годы тяжело больной человек, боялась длинного пешего перехода по платформе и, избегая спешки, приезжала задолго до отправления.)

Разговор зашел о западногерманской литературе, о высокой литературной культуре в этой стране. Ахматова отмечала, что за короткое время там вышло несколько разных переводов «Божественной комедии» и «Евгения Онегина». Анатолий Генрихович заметил, что Анне Андреевне придется теперь искать другого секретаря, который лучше бы знал по-немецки. «Пожалуй, — немедленно отозвалась Ахматова. — Я уже об этом подумывала». Другие шутки, которые могли ей нравиться, однако она не хотела почему-либо принимать в них участие, она, напротив, сдерживала, укоризненно обращаясь к собеседнику по имени (так, когда к двери уже приближался скучный посетитель, а сидевшие у Ахматовой молодые люди все еще шутили по его поводу). Один из близких должен был по просьбе Анны

Андреевны поехать из Комарова в Ленинград, приходилось то-ропиться, уезжать не хотелось, и она это прекрасно понимала. Пока он еще только поглядывал на часы, она говорила, что ему должно быть скучно, когда же он встал наконец, чтобы попрощаться, она сказала: «Вы даже уже не глядите на часы, так Вам скучно». А вот снова в Доме творчества: вернувшись в свою комнату из столовой и сев наконец в кресло, Ахматова после длительного из-за перехода и раздевания молчания немедленно обратилась ко мне: «Ну, что главное в жизни?» — От неожиданности я не нашелся, что ответить. На помощь пришел один из присутствующих с популярной в то время формулой: «Величие замысла». — «Да, мы с Иосифом иногда так думаем», — сказала Анна Андреевна (т. е. с Иосифом Бродским).

Ахматова обладала редкостной памятью, наблюдательностью, зоркостью, она тотчас замечала то, на что другие не обращали внимания. Взяв однажды в руки выпуск «Paris Match», посвященный незадолго до того умершему Черчиллю, который остальные перед тем успели просмотреть, она указала на нескольких фотографиях детали, которых никто не заметил, такие, как орден Подвязки на ноге Черчилля, или то, что на одном из снимков министр пьян. Она удерживала в памяти не только, как это бывает у пожилых людей, события давнего времени, но и все текущие события. Когда я во второй раз встретился с Ахматовой через полтора года после знакомства, она спросила о моих занятиях, о которых помнила с тех пор. «Я Grand Larousse, — говорила она так, ответив на самые разнообразные вопросы приезжей француженки. — Я Grand Larousse — вот как я кончаю свои дни». И, заметив мой взгляд: «Мише даже меня жалко». Казалось, и в больнице Анна Андреевна лучше знала о происходящем на свете, чем те, кто приходили ее навещать (так, по крайней мере, нашла ее соседка по боткинской палате). В один из дней, когда у нее были Мария Сергеевна Петровых и Арсений Александрович Тарковский, она достала из тумбочки свежую газету, в которой что-то было сказано и о них обоих (они ничего об этом не знали), и о ней самой, и еще о ком-то, о ком зашла речь, и добавила: «Здесь обо всех написано, — и указав вдруг на меня, — только вот о Мише нет».

Ахматова умела находить решения простые и естественные, подсказанные самим ходом вещей. Однажды к ней приехала молодая поэтесса, которая во всем произвела на нее хорошее впечатление, кроме выбранного ею псевдонима. Анна Андреевна спросила у нее фамилию бабушки, которая оказалась подхо-

дящей, и вопрос был решен, как более полувека назад для самой Ахматовой. Что-то похожее было и в том, как Ахматова регулировала продолжительность визитов: если посетитель выказывал нерешительность, следует ли ему оставаться дольше, она говорила, взглянув на часы: — Сейчас без четверти шесть? Посидите до шести. Она мудро обращалась со временем: «В день надо делать не больше одного дела».

Язык жестов — лаконичных и чрезвычайно отточенных — был не менее выразителен, чем язык слов: медленный поворот головы и взгляд в окно, взмах руки, взгляд вверх или тот особенный неторопливый округлый жест, которым Ахматова протягивала собеседнику письмо или фотографию. Если разговор был ей неинтересен, жесты, как и интонация, делались чуть-чуть преувеличенными — род «формального присутствия». Сидя в креслах или за столом, Ахматова обыкновенно опирала голову на левую руку — большой палец под подбородком, ладонь и пальцы поднимаются к виску, либо пальцы отставленной руки упираются прямо в висок, и когда Анна Андреевна плохо слышала, она небольшим движением отодвигала ладонь назад к уху. На тахте она сидела прямо, касаясь ее руками и слегка на них опираясь. В больнице Анна Андреевна сидела в постели так же прямо, не спуская ног. Все, кто знали Ахматову, помнят особое выражение ее лица, когда она гляделась в зеркало, держа его правой рукой на высоте головы, левой поправляя прическу, чуть-чуть поджимая губы. Такой момент счастливо запечатлен на ее, вероятно, последней фотографии, сделанной у Ардовых всего за несколько дней до смерти. Особенной была и улыбка — то воспетое «движенье чуть видное губ», от которого расцветало мгновенно все лицо. «Вы только губы стронете в ответ, / Прилаживаясь будто для свирели», — сказал о ней в посвященных Ахматовой стихах Дмитрий Бобышев. Музыку Анна Андреевна слушала сосредоточенно, часто закрыв глаза (запомнилось слушанье в Комарове пластинки «Stabat Mater» Перголези, которую я приносил по ее просьбе).

Труднее сказать о том, как говорила Ахматова, и такие слова, как «неторопливо», «делая паузы», «величественно», пожалуй, мало что пояснили бы. Легче сказать о ее произношении, которое по некоторым фонетическим признакам относится к так называемому «старому петербургскому». Ахматова произносила глубокое заднее *a* (но сильно редуцированное в безударном положении после шипящих — «шеги», «шелить»), ее речи было свойственно упрощение групп согласных, — но прежде всего четкость, ясность артикуляции. Быть может, еще и потому

стихи Ахматовой в ее собственном чтении приобретали особенную выразительность. (На преимущественно артикуляционную ориентированность стиха Ахматовой в свое время указывал Б. М. Эйхенбаум.) Речь Ахматовой воспета в русской поэзии — «Твое чудесное произношение», «Ваша горькая божественная речь». Замечу, кстати, что слова «поэт», «поэзия» Ахматова по традиции, поддержанной Гумилевым, произносила с отчетливым, нимало не редуцированным *о*. Некоторые йоты она вокализировала, например, в слове пейзаж (без слогового *и* не удастся прочесть стих, которым открывается вторая «Северная элегия»: «Так вот он, тот осенний пейзаж...»). Всякое слово приобретало в ее устах почти вещественную плотность, становилось единственно возможным. И, может быть, не стоило бы специально останавливаться на том, что романские слова — латинские, итальянские, и почему-то русские фамилии, восходящие к тюркским корням (включая собственную — «имена пяти поэтов начинаются на “Ах”» — шутила Ахматова), звучали в ее произношении удивительно красиво.

При Анне Андреевне постоянно была сумочка, в которой она держала фотографии, письма, деньги. Однажды она невозмутимо из нее извлекла библиографическую карточку: «Das ist eine Königin», \* — впечатления немецкого писателя, который видел Ахматову в Италии. Письма, которые получала Ахматова, содержали множество курьезов. Какая-то читательница после страницы заверений в любви писала, что нашла книгу без переплета и просит Ахматову ответить, не ее ли это стихи, — далее следовало оглавление «Четок». Другой благодарил Анну Андреевну за ее заслуги в русской поэзии в «области содержания». — «Как будто я мало сделала для формы», — сказала Анна Андреевна (интересно в этой связи заметить, что, работая над корректурой одного из сборников с чрезмерно осторожным редактором, Ахматова недоумевала по поводу изъятия некоторых стихотворений, с самым серьезным видом ссылаясь на формальные удачи и находки, — сообщено мне покойным И. М. Тронским). Взглянув на конверт, она продолжала: — Есть три правила хорошего тона: нельзя подчеркивать фамилию на конверте\*\*; когда пьют чай, вынимают из стакана чайную ложку; и непременно скомкать свежий носовой платок, прежде чем положить его в карман. Остальное все можно.

\* «Это королева» (нем.). — Ред.

\*\* Обращалось внимание и на то, что полное имя и отчество адресата должны предшествовать фамилии, а не следовать за ней.

Иногда Ахматова получала письма, в которых люди, вышедшие из тюрьмы («мои каторжники»), просили прислать на дорогу денег. Деньги неизменно высылались. Анна Андреевна ставила в пример доброту покойного Михаила Леонидовича Лозинского, который, узнав о чьей-то нужде, тайно и анонимно этому человеку помогал. По какому-то частному поводу (кажется, какая-то дама жаловалась на то, что нечем время занять) она сказала: — Зло делается быстро. Тем, кто делает добро, времени не хватает. Добро требует всего времени.

— Кузмин — вероятно, единственный из близко знакомых мне людей, который любил зло ради зла. (Нелюбовь Ахматовой к Кузмину нашла отражение в «Поэме без героя» и некоторых стихотворениях. Переоценка ее отношения к Кузмину происходила постепенно и оформилась окончательно к сороковым, по-видимому, годам.)

Изредка Ахматова показывала фотографии, к некоторым давался шуточный комментарий. Была фотография, где она снята с увешанной медалями собакой: «У нее 12 медалей, а у меня только три». Иногда она читала или показывала страницу своих рабочих тетрадей (в то время — томов из собрания сочинений Лермонтова и «Тысячи и одной ночи» со вплетенной вместо текста чистой бумагой, так и называвшихся: «Тысяча первая ночь» и «Лермонтов»). Она не только делала в них записи, но и давала вписывать понравившиеся чужие стихи и даже адреса, и т. п. Эти тетради содержат великолепные образцы мало известной поздней ахматовской прозы. Анна Андреевна однажды показала только что перепечатанный из одной из них отрывок о своем отношении к прозе, которая, как там сказано, ей давалась непросто, — а «о стихах я все знала с самого начала». Когда я дочитал отрывок, Анна Андреевна спросила мое мнение и, как бы продолжая высказанные в тексте мысли, с явным пренебрежением поглядела на рукопись; чуть-чуть качнула головой и махнула рукой. Другой, позже опубликованный фрагмент о встрече с Блоком на пригородном полустанке, который она прочла сама, тогда кончался словами: «...Сейчас, когда темно и за окнами бушует осень...»

Время от времени (для меня эти встречи связаны главным образом с «Будкой» — крохотным комаровским летним домиком, нанимаемым Ахматовой у Литфонда), когда собирались друзья, кто-нибудь посылался за водкой. Считалось, что алкоголь запрещен Ахматовой — «ну разве только экспромтом...» «Сыр купите куском. Это все, что у меня осталось от прежней жизни». Когда бутылка была пуста, она говорила: «Уберите ее,

как будто она здесь никогда не стояла». Поднося рюмку к губам, она оставалась неподвижной, чуть-чуть только запрокидывала голову, это было очень красиво. За столом сидели долго, Анна Андреевна говорила, и в такие вечера радость ее присутствия становилась почти жгучей, пространство сжималось до яви небольшой комнаты, и вот уже звучит голос Ахматовой: «Я пью за моих молодых друзей», — и ответный тост: «За счастье видеть Вас».

После смерти Ахматовой мне приходилось нередко слышать даже от ее «старых друзей», что она якобы «изменила себе», — к ней, ценившей прежде свое время и одиночество, шли теперь вереницы посетителей, возникло новое молодое окружение и т. п. Это мнение — отзвук того обывательского отношения к поэту, для которого тернистый путь Ахматовой всегда был благодарным объектом: почему-то люди, не имеющие никакого отношения к поэзии и искусству, рады твердить, что Ахматова «повторялась», «исписалась» и т. п., а люди, привыкшие торговать убеждениями за весьма невысокую цену, смеют ставить ей в вину известный цикл стихов 1950 года, который трудно определить иначе как подвиг. (Поясню, что речь идет о цикле стихов «Слава миру», которые появились при следующих обстоятельствах. Сын Ахматовой, Л. Н. Гумилев, был в это время во второй раз арестован, она же, преданная анафеме ждановским постановлением и потому не имевшая ни малейшей возможности за него бороться, пыталась что-то сделать через других авторитетных людей. В ответ ей был сделан намек, что если она напишет стихи в официальном русле, прославляющие тирана, то ее сын будет выпущен. Насколько трудно было Ахматовой сверсифицировать эти стихи даже технически, видно хотя бы из того, что ей должен был в этом помогать ее добрый знакомый, пушкинист и стиховед Борис Викторович Томашевский, по словам его вдовы говоривший ей: «Анна Андреевна, у Вас тут размер не выходит». Ахматова прекрасно понимала последствия этой жертвы, что отражено в ее подлинных стихах того времени, например, в следующих (из цикла «Черепки»):

Вы меня, как убитого зверя,  
 На кровавый поднимете крик,  
 Чтоб, хихикая и не веря,  
 Иноземцы толпились вокруг,  
 И писали в почтенных газетах,  
 Что мой дар несравненный угас,  
 Что была я поэтом в поэтах,  
 Но мой пробил тринадцатый час.

Между тем жертва оказалась напрасной: стихи были напечатаны в «Огоньке», но Сталин, превзойдя самого себя коварством, Л. Н. Гумилева не освободил. Что же касается некоторых перемен в ее образе жизни, то о них, как мне кажется, можно говорить лишь как о новой форме творчества — непосредственного общения с людьми, на которых она оказывала неизмеримое влияние. Последний из великих русских поэтов, человек несравненного духовного величия, Ахматова пользовалась высшим авторитетом среди определенной части общества, даже среди людей, никогда с нею не встречавшихся, а те, кто оказывались рядом, стремились раскрыться перед ней лучшими своими сторонами. Несомненно, что одним своим существованием Ахматова оказывала заметное воздействие на достаточно широкий социум хотя бы в том смысле, что ее потенциальное мнение могло удерживать от тех или иных поступков даже людей, вполне от нее далеких. Тем же, кто склонен говорить о «переменах» в образе жизни Ахматовой, я рекомендовал бы задуматься лучше о том, что в нем всегда оставалось неизменным, — до глубокой старости Ахматовой негде было нередко в буквальном смысле приклонить голову (исключительная скромность комаровской, да и ленинградской жизни, не говоря о часто вынужденном кочевании по Москве, было продолжением ее всегдашней неустроенности, восходящей к воспетой ею в «Царскосельской оде» и «Северных элегиях» «антицарскосельской идиллии»). Однако две-три какие-нибудь вещи — старинная чернильница, желтые свечи в фарфоровых подсвечниках — придавали этой простоте и атмосферу очарования, и очертания изысканности.

Слушать Ахматову было несравненным наслаждением. Я не буду повторять особенно известных новелл Ахматовой, так называемых «пластинок», из которых многие уже записаны другими. Приведу лишь несколько историй. Анна Андреевна рассказывала, как после доклада Мандельштама, кажется в Цехе поэтов, она спросила Николая Владимировича Недоброво, вместе с которым возвращалась из Петербурга в Царское Село, понравился ли ему доклад. «Да, очень, — ответил Недоброво, — но почему он несколько раз что-то говорил о двенадцати музах?» Однажды она стала рассказывать про гимназию, где ей поставили двойку по стихосложению, и в связи с этим припомнила другую подобную неудачу. В начале 50-х годов, когда она вынуждена была заняться переводами, она как-то обратилась к тому же Б. В. Томашевскому с просьбой объяснить ей размер болгарских, кажется (которые сравнивала «с пищеварением»),

не то других каких-то стихов. Борис Викторович строго поглядел на нее и сказал: «Этот размер наше поколение привыкло называть ахматовским дольником». Учась на Высших женских курсах в Киеве, Анна Андреевна учила латынь, — «читала Цицерона, *De tolerando dolore*» \* (эти слова, и эти слова ее голосом, опадающие после дождя в густом и сиреновом сосновом воздухе). Переводя в 1965 году тексты египетских писцов, она сделала предположение, что *pyramidum altius* в горацевом «Памятнике» почерпнуто из этих или подобных источников, поскольку пирамиды — «это не то, что в Риме видели в окошко». Это, конечно, не так — в Риме знали о пирамидах, — но интересно как пример свежего и нетривиального взгляда. Точно так же в разговорах с И. Д. Амусиным Анна Андреевна высказывала интересные замечания в связи с ветхозаветными апокрифами, хотя ученого немного шокировало, что для своих интерпретаций она наравне с текстами могла обращаться к гравюрам Гюстава Доре, — а впрочем, почему бы и нет? Ахматова знала на память шуточные латинские стихи, которые сочинялись в ее юности в Цехе поэтов. Читая такой же шуточный перевод на латынь (кажется, Д. П. Святополк-Мирского) «У купца у Семилапова / живут люди не говеючи... — *Septadactylus mercator / Servos semper nutrit carne*» — она решила, по-видимому, меня проэкзаменовать: оборвав посреди строки, она сделала вид, будто забыла, как по-латыни «всегда», и только услышав «*semper*», продолжала чтение. Анна Андреевна знала наизусть много французских стихов (а еще — итальянских, английских). Прочтя однажды (она тут же переводила для гостя, не понимавшей по-французски) короткое стихотворение, которое помнила едва ли не с детства, она рассказала, что всегда думала, что это Верхарн, но когда захотела отыскать, оно не нашлось не только у Верхарна, но и ни у кого из известных ей поэтов. Помню из этих стихов только *pont de bois* \*\*, который всем, конечно, напомнил ее собственные стихи «...почернел, искривился бревенчатый мост», а все это вместе соединяется в памяти с тогда же ею показанной фотографией двадцатых годов, где она сидит в белом платье, свесив ноги, на краю деревянного мостика.

Как-то Анна Андреевна предложила мне почитать из «Божественной комедии» (в роскошном издании «*Stampato per Achmatova*» с рисунками Боттичелли, входившем вместе с «маль-

\* О преодолении страданий (лат.). — *Ред.*

\*\* мост в лесу (фр.). — *Ред.*

чиком» — серебряным рыцарем в латах — в премию «Этна Таормина», полученную ею в Сицилии в 1964 году). Когда я остановился, Анна Андреевна продолжила отрывок по памяти, и возможно ли описать «эти слова, ее голосом»? (Кстати, вопреки стандартным вкусам, две последующие части Ахматова любила больше «Ада»). С получением этой премии связан был некоторый казус, о котором Анна Андреевна рассказывала по возвращении из Италии. В Катанье, в замке, где должна была состояться церемония вручения премии, оказалась высокая лестница «и никаких, конечно, лифтов». Лестницы давно уже были ей настрого запрещены. — А я пошла — и ничего не случилось.

Несколько историй связано было с книгами («С книгами надо обращаться плохо»), которые, претерпев сложную судьбу, иногда странно возвращались к Ахматовой. Однажды, купив у букиниста томик Браунинга, дома я обнаружил на нем надпись Владимира Казимировича Шилейки, второго мужа Ахматовой, и показал книгу Анне Андреевне. Она узнала ее и добавила: «Это Оцуп украл». Раз стало известно, что к тому же букинисту попала книга стихов Блока, подаренная им Ахматовой с посвященным ей стихотворением на титульном листе — «непонятным», и книготорговец, прежде чем пустить книгу в продажу, интересовался, не приобретет ли книгу законная владелица. Когда я спросил об этом Анну Андреевну, она, махнув рукой, ответила знакомым нам: «Все равно все пропало». После этого с той же книгой к ней приходил купивший ее коллекционер М. С. Лесман, который хотел ей ее подарить, но она снова от нее отказалась. Даря или, чаще, надписывая собственные книги, Ахматова делала дедикации строго определенным образом — указывалось, кому делается надпись, где, когда и кем. Это составляло обязательную часть дедикации, и если Анна Андреевна ею довольствовалась, она говорила: «Это все, что могу придумать». Надпись могла заменяться простой авторизацией — на титульном листе или в конце ставилась буква *a*, похожая на греческую альфу, иногда проставлялись более или менее подробные даты, исправлялись опечатки, восстанавливались цензурные варианты и т. п. Напротив, когда Анна Андреевна дарила книги друзьям, она добавляла ко всему этому подходящее к случаю пожелание, строку из стихотворения или псалма. Искусство выбирать такие строчки примыкает к мастерству ахматовского эпитафия (этой теме я собираюсь посвятить отдельный очерк. Здесь отмечу только удивительное умение выбрать для эпитафия главное в стихотворении или книге —

так, превосходный эпиграф из Князева к четвертой главе первой части «Поэмы» — единственные на таком уровне строки во всем сборнике, и две другие строчки того же четверостишия уже значительно им уступают). Такие строки всегда оказывались к тому же щемяще связанными с ее собственной темой. О некоторых строках Анна Андреевна говорила, что они «проятся в эпиграф». Многие эпиграфы оказывались лишь временными — Ахматова легко их ставила и легко меняла. Роли эпиграфов из ее собственных стихов и новой русской поэзии я имел уже случай коснуться на этих страницах. Известно больше восьмидесяти эпиграфов к стихам Ахматовой на шести языках, рукописи обнаружат, должно быть, больше. В некоторых надписях она указывала, что дарит книгу в знак благодарности за что-либо. Анна Андреевна делала надписи обычным для нее четким и предельно простым почерком с очень изящными очертаниями букв — в ее почерке было что-то общее с ее произношением. Строчки пересекали страницу немного наискось (снизу вверх):

Опирая на ладонь свою висок,  
вы напишете о нас наискосок

(строки Бродского, из которых последняя взята Ахматовой эпиграфом к стихотворению «Последняя роза»). Надписям на книгах Ахматовой свойственна та же значительность, отточенность и глубина, как и всему, что она говорила и писала. Собранные, они немало украсили бы «Труды и дни».

Ко всему, связанному с автографами, Анна Андреевна относилась слегка иронически — фетишизм в отношении чего бы то ни было, связанного с поэтом, вызывал ее резкое неодобрение (дорогой на какие-то давние блоковские торжества она сказала покойной Зое Александровне Никитиной: — В Пушкинском Доме они хранят недокуренную папиросу Блока...). Так, написав однажды небольшое письмо в Москву, она произнесла: «обычный средний автограф». Последние годы она писала шариковой ручкой и с серьезным видом утверждала, что способ непрочный и в один прекрасный день все написанное исчезнет. Написанное, однако, стало после ее смерти исчезать иным, непредвиденным образом. Время от времени к Ахматовой приходил человек, которого она называла «мой библиограф». «Конечно, он ничего не напишет, но я ему кое-что даю». Выход «Бега времени», несмотря на неполноту сборника, был все же событием («такой большой книги у меня не было») после провавшего многолетнее непечатание издания 1958 года, за ярко-

красную обложку прозванного «манифест», которое в 1961 году Анна Андреевна обменивала на зеленую (оказавшуюся все же шагом вперед) «лягушку» («Библиотека советской поэзии»). Уже в больнице она получила первый том только что вышедшего американского издания, подготовленного весьма небрежно, — ошибки, опечатки («Хуже всего опечатки со смыслом»), многого недоставало, включены два чужих стихотворения и, что ее особенно раздражило, — бестактная перепечатка «Славы миру». Один из воспроизведенных в томе портретов работы Сорина 1913 года Анна Андреевна называла «конфетная коробка». Другого зарубежного издателя, известного любовью к сенсациям, Анна Андреевна в шутку называла «акулой империализма», потом просто «акулой». Зато итальянского издателя Эйнаути она вспоминала как человека «прелестного».

Диссертации, которые писались об Ахматовой за границей, были обычно неудовлетворительными. Познакомившись с какой-то гарвардской диссертацией о Мандельштаме, Анна Андреевна сказала: «Если бы Осип написал обо мне, а я об Осипе...» Довольно много анекдотов связано было с переводами из Ахматовой. В стихотворении «Песня последней встречи» — это название, кстати, оказалось переведенным как «Песня последнего раза» («Я ему покажу “Песню последнего раза”!») — французскому переводчику понадобилась рифма к «chemin», поэтому после «он вышел шатаясь» он еще от себя прибавил «A cinq heures du matin». «Что обо мне подумают», — сокрушенно добавляла Анна Андреевна. В переводе

А сторож у красных ворот  
Окликнул меня — куда!

(«Сон», 1915) появились московские Красные ворота, хотя в стихах недвусмысленно говорится о Царском. Памятник из «Реквиема» превращается почему-то в памятник Петру Великому (это у того же американского переводчика, у которого мандельштамовское «У него что ни казнь, то малина» стало просто «он любит пить чай с малиной» — ошибка, увековеченная в «Аде» Набоковым). Если первые два случая были предметом шутки, то два последних Ахматова рассказывала почти гневно. Уже в корректуре интервью с Ахматовой, которое печатали «Вопросы литературы», было обнаружено, что она пишет воспоминания об «Анатоле Франсе Модильяни». Другая, более давняя (эпохи подготовлявшейся уже «борьбы с космополитизмом») история, рассказанная мне моим отцом, связана с докладом в не менее просвещенном Пушкинском Доме по ее работе об

источниках «Золотого петушка», построенной, как известно, на сопоставлении Пушкина и Ирвинга. Когда Анна Андреевна спросила, прежде чем приступить к чтению, достаточно ли читать цитаты только по-французски или их надо также перевести, перепуганный ученый секретарь ответил: «Читайте только по-русски».

Из французских переводов один неожиданно понравился Анне Андреевне, и она спросила приезжую переводчицу, которая перед тем читала его в Доме писателя, какую отметку ей там поставили. Дама ответила, что один из переводчиков обнаружил имевшиеся якобы ошибки в метрике, поэтому тройку или четверку. «Вот как, — сказала Анна Андреевна, — не знаю, сколько я ему еще поставлю. Еще не решила». Об английских переводах своих стихов: «Язык перенасыщен — не принимает».

К мистификациям и мнимой многозначительности Ахматова всегда относилась неодобрительно. В марте 1965 года, живя в комаровском Доме творчества, она рекомендовала прочесть статью Соловьева о спиритизме в томе Брокгауза, который оказался в ее комнате (и в том же томе — о ссылках). Как-то раз к Ахматовой пришел американец с рекомендательным письмом от своего профессора, который прежде уже бывал у нее. Анна Андреевна сказала ему, что как раз на днях получила от него книги. Гость побледнел и сказал, запинаясь, что «это не простое совпадение». — «Ну что здесь удивительного, — сказала Ахматова, — такое случается сколько угодно». — «...И портрет потом пропал...» — говорила Анна Андреевна о своем портрете, который писала молодая художница, считавшаяся очень таинственной, после того как та перестала у нее бывать.

Боюсь, что по сходной причине Анна Андреевна не одобрила мою идею путешествия по Северному морскому пути летом 1965 года, не вполне, впрочем, ясно тогда выраженную, к тому же Анна Андреевна боялась чрезмерных водных пространств, и она только сказала: «Если здесь будет такая погода, Вы не проиграте...» (был ненастный день). Путешествие оказалось удачным, и мне хотелось, чтобы она об этом узнала. С крайней северной точки Евразии (над Таймыром) я послал ей телеграмму, снова, однако, не вполне внятную (осенью, в ответ на мой вопрос, Анна Андреевна сказала: «Может быть, Вы думаете, что я ее не получила?»). Позже, в Тихом океане, на торговом корабле, возвращавшемся во Владивосток из рейса на Чукотку, я услышал, проходя мимо судового радио, неожиданные здесь и странно знакомые слова — «Будка», Оксфорд, Найман, Оль-

шевский... Как выяснилось, читали запись интервью, взятого у Ахматовой Михаилом Ардовым и перепечатанного дальневосточной морской газетой. Смешно, что к моему приезду эту небогатую историю рассказали уже Анне Андреевне остальные помянутые ее участники, знавшие ее из моих писем, и когда при встрече начал ей рассказывать я, третий, она сказала только: «Я знаю, знаю». Не менее фантастичным, хотя несколько более поэтическим был другой случай, происшедший во время того же восточного путешествия. На пустынейшем — ближайшем к Японии — острове Кунашире мне пришлось проходить через заброшенное имение — в свое время одну из летних резиденций микадо. Постройки и парк были целы, быть может, благодаря тому, что после войны в имении стояли пограничные войска. Войдя в один из оставленных домов с драконом, выглядывавшим из-под конька черепичной крыши, я увидел на полу в полутемной зале какой-то московский альманах, раскрытый на ахматовской «Восточной тетради». Когда я рассказал об этом Анне Андреевне, она лишь заметила: «Плохие стихи», — все остальное не вызвало у нее никакого удивления. Не могу, однако, удержаться от того, чтобы не привести фразу Ахматовой, говорившей по этому поводу, что это «одна из тех историй, которые случаются только с Мишей Мейлахом».

Вот живущие в памяти драгоценные обрывки несравненной ахматовской речи:

«...на коленях даже в церкви не могу стоять...» \*; «...меня все с чем-то поздравляют, не пойму, с чем...» «...Борис все жег...» \*\*

«...выстрою келью под елью, буду Богу молиться...» «...перлюстрировалась даже царская почта...»

«...не знаю, какая тут идея — отнимать у людей картины и отдавать их NN...» О нем же: «Человек, на лице которого природа позаботилась изобразить все его пороки».

«...пусть мелькнут...» — в ответ на переданную Ахматовой просьбу посторонних людей позволить ее навестить.

«...и когда мы прошли уже все заборы и незаборы...»

«...мне надо научиться ходить...» (перед поездкой в Англию).

«...я лирический поэт и не могу валяться в канаве...»

«...все эти истории почему-то немедленно становятся известными, хотя я рассказывала их только моему окружению. Я думаю, там (указав под диван) стоит машинка, которая пишет».

\* Поскольку эта фраза вызвала недоумение первых читателей этих заметок, поясню, что речь идет, разумеется, о чисто физической невозможности, связанной с болезнью ног.

\*\* Борис Леонидович Пастернак.

Постучав в дверь, из-за которой раздается голос Анны Андреевны: «Я не убрана — подождите...»

«...Вы читали, что обо мне написано в “Новом мире”? Я нет».

«...царя чуть не каждый день видела...» (т. е. в Царском Селе в десятые годы). — Ахматова возмущалась чьими-то мемуарами, в которых царь каждый день выезжал кататься в золотой карете. «Иллюзия императорской жизни» — это выражение могло относиться и к подобным представлениям, и, шире, — к любой безвкусной роскоши.

После посещения человека очень почтенного и очень рассеянного: «...был Н. Конечно, у него было расстегнуто все, что может быть расстегнуто...» «После некоторых людей на полу всегда остаются какие-то соринки, нитки. К числу таких людей принадлежал мой второй муж Володя Шилейко».

«...Ну, она устроила ему файфоклок не скажу когда...»

«...Еще не знаю, как сердце будет себя вести...» — днем, по поводу планов на вечер.

О тюремных очередях ежовщины: «Одни бабы стояли...»

«...Я получила французское воспитание: — Allons, enfants de la patrie...» \*

В «Будке» над кроватью Анны Андреевны висел «Петух» — понравившийся ей рисунок Бориса Ардова. «Его хотели повесить вон там, но я сказала: к иконам не пуцу...»

У Ахматовой были своеобразные эпитеты, такие как «тайнобрачный», «беспастушный», которыми она пользовалась в самых различных, разумеется, шутливых контекстах, — например, — «ваш тайнобрачный визит». Обращаясь с просьбой выполнить какое-нибудь новое поручение, добавлявшееся к предыдущим, она могла сказать: «...будьте ангелом до конца...» Для шутливого обозначения чего-то невозможного или неисполнимого она употребляла формулы «идеал грез» и «в порядке чуда». (Эти последние выражения относятся, впрочем, к «ордынскому» фольклору своеобразнейшего дома Ардовых в Москве — семьи, с которой Ахматова была близка и в которой подолгу жила. За многие годы кое-что из этого колоритного языка, который и вырабатывался отчасти при ее же участии, перешло в ее речь. Об этом и о многом другом пишет в своих воспоминаниях об Ахматовой «Легендарная Ордынка» М. В. Ардов.)

Узнав о моих занятиях обэриутами, Анна Андреевна попросила что-нибудь прочитать. Я прочитал «Элегию» Введенского.

\* Вперед, сыны отечества (фр.). — *Ред.*

Оказалось, что она с давних пор знала ее от Николая Ивановича Харджиева. С Хармсом она была знакома и высоко ценила его прозу (сохранилась сделанная Л. К. Чуковской запись переказа ее интересного разговора с Хармсом). Анна Андреевна спросила об обстоятельствах его гибели. Я отвечал, что он умер в блокадной тюрьме, но по мало достоверным слухам его след всплыл впоследствии в Новосибирске, где эвакуированные актеры будто бы носили ему передачи. Анна Андреевна пришла в волнение: — Этим слухам нельзя верить ни в коем случае! Они могут распускаться только с определенной целью. Я сама полтора года стояла в очередях и знаю, что этого быть не может\*.

Разговор зашел о Сартре. — Теперь Сартр в фаворе, — сказала Анна Андреевна, — а когда он в свое время написал, что Сталин отличается от Гитлера только длиной усов, о нем и думать было нельзя, а у того, кто дотронется до этой книги, руки должны были почернеть до локтя...

Говорили о наркомании, к которой Анна Андреевна, естественно, не могла относиться с симпатией. — Когда у меня был инфаркт, — сказала она, — в больнице мне целый месяц делали уколы морфия. Я спросил, сопровождалось ли это какими-нибудь приятными видениями. — Ничего приятного в них не было, — отвечала Анна Андреевна. — Ну, раз увидела у себя на постели кошку. «Зачем мне кошка?»

Однажды, когда Анна Андреевна показала снимок, сделанный из ее окна во флигеле Мраморного дворца, где она жила в девятнадцатом или двадцатом году, и почти совпадающий с видом из моих нынешних окон («Вы живете в доме Адамини?»)\*\* , темой разговора стало Марсово поле. Она великолепно знала старый Петербург\*\*\* (не только по Пыляеву и Лукомскому, которых советовала читать). Вернувшись как-то раз с катанья на автомобиле, она рассказала, что во время остановки на Исаакиевской площади шофер стал ее убеждать, что собор посвящен царю, и она сказала ему: «Прочтите, что там дальше

\* Только спустя двадцать лет, в 1984 году, я в ходе собственного следствия доподлинно узнал, что Хармс, вторично арестованный в августе 1941 года якобы «за распространение пораженческих слухов», был очень скоро признан невменяемым и в декабре направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где умер в феврале 1942 года (примеч. 1987 года. — М. М.).

\*\* Дом, воспетый Ахматовой в «Поэме без героя».

\*\*\* Ср.:

А я один на свете город знаю  
И ощупью его во сне найду.

написано» (речь идет о надписи на портике западного фасада Исаакиевского собора — «Царю царствующих»). «Город славы и беды» — Петербург, а потом Ленинград (Анна Андреевна, со свойственным ей трезвым взглядом, не одобряла, когда называли Петербургом современный нам город, и новое название вошло в ее словарь — зато любила старинные названия улиц, в том числе своей «Широкой», где жила или, вернее, останавливалась между периодами жизни в Москве и Комарове в последние годы) — был и героем поэзии Ахматовой, и постоянным свидетелем ее пути — «блаженной колыбелью», «солеею молений», «таинственной брачной постелью», «ленинградской могилей», и только «Трилистник московский» стал странным пророчеством:

Случится это в тот московский день,  
 Когда я город навсегда покину,  
 И устремлюсь к желанному притину,  
 Свою меж вас еще оставив тень.

И вот — последний отъезд. Мне памятно редкое солнце раннего октября, пустующие небеса скоротечной осени и лиловые астры, которые, словно по уговору, принесли все, кто пришел на «Широкую» проводить Ахматову. Цветы Анна Андреевна решила взять с собой в Москву и с большим букетом медленно шла по бесконечной платформе. Идти ей было трудно, она не совсем была здорова после простуды (поторопленный переезд — в Ленинграде некому было за ней ухаживать — мог быть одной из причин случившейся вскоре болезни), а дойдя до вагона (первого вагона поезда), выяснилось, что забыт нитроглицерин. До отхода оставалось несколько минут, в течение которых я успел добежать до вокзального киоска и вернуться с лекарством к тронувшемуся уже вагону — в памяти прекрасное лицо в проплывающей мимо оконной раме и воздушный поцелуй...

Но никогда не видел я Ахматову более прекрасной, чем в ее последней больнице. Думая об этом теперь, кажется, что в преддверии конца, которого тогда никто, ни в том числе и я, как ни странно, не могли себе представить, сокровенные черты, сделавшись зримыми, в последний раз преобразили царственный облик Ахматовой. Несмотря на тяжелую болезнь («...я сегодня плохая...»), она жила почти обычной жизнью — читала Платона в новом, только что вышедшем переводе Симона Маркиша, который тот принес ей туда, Алису Мейнелл, написала подробный критический отзыв об американском издании, слушала музыку (перед одним из посещений — «Наваждение» Прокофьева, в котором справедливо слышала что-то бесов-

ское). Последнее время Анна Андреевна интересовалась Кумраном и ранним христианством, что дало ей повод сравнить судьбу евреев в двадцатом веке с судьбою первых евреев-христиан\*. Ее навещали, и Анна Андреевна вспомнила, как в свое время Пастернак не пришел к ней в больницу, потому что боялся увидеть ее некрасивой. Мне показалось, что темнее стали глаза — быть может, из-за лекарств или просто освещения. Тогда ею было уже написано четверостишие:

А я иду, где ничего не надо,  
Где самый милый спутник только тень,  
Где веет ветер из другого сада,  
А за окном могильная сирень.

А в ответ на высказанные кем-то медицинские соображения она сказала: «Теперь уже недолго осталось».

А потом — небывалая весть в случайном телефонном разговоре, московские звонки, аэродромная метелица, кладбищенская неразбериха, в Никольском панихида и отпевание, толпа возле церкви и перед Домом писателя, украшенным тем же Шереметевским гербом, что и Фонтанный дом, перед которым остановился траурный кортеж, и еще одна после похорон панихида в «Будке», в последний раз вместе собравшей всех, кто волею или неволей был связан с Ахматовой. Нет Ахматовой. Отныне будет время «плакать и вспоминать», будет время увидеть, как много она «связала на земле» и как много унесла с собой, будет время вчитываться в дорогие строки и в них слышать «это эхо, этот второй шаг»; будет время и сейчас, между третьей и четвертой годовщиной, «сейчас, когда темно и за окнами бушует осень», вслушавшись, услышать тот голос, зовущий «неизмеримо дальше, чем это делают произносимые слова», голос, «как власть имеющий» говорящий:

...Но еще не сказал ни один поэт,  
Что мудрости нет, и старости нет,  
А может, и смерти нет.

Комарово, 1969



\* Эти темы затрагиваются в ее записях в так называемом «Лермонтове», сделанных в Домодедове в последний день ее жизни — 4 марта.